

1955. 576 с. 9. *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. 413 с. 10. *Дельвиг А. А.* Соч. Спб., 1893. 171 с. 11. *Добролюбов Н. А.* О русском историческом романе. — Собр. соч. В 9-ти т. М.; Л., 1961, с. 89—98. 12. *Измайлов В. В.* Путешествие в полуденную Россию. М., 1805. 532 с. 13. *Крестова Л. В.* Відображення колішщини в російській літературі. — Радянське літературознавство, 1957, № 19, с. 29—40. 14. *Кулжинский И. Г.* Малороссийская деревня. М., 1827. 136 с. 15. *Лессинг Г. Э.* Гамбургская драматургия. М.; Л., 1936. 455 с. 16. *Михед П. В.* На путях к историческому роману. — Новые формы в литературе и литературной критике. К., 1979, с. 35—50. 17. *Нарежный В. Т.* Избр. соч. В 2-х т. М., 1956. 616 с. 18. *Островская Н. К.* Украина в творчестве В. Т. Нарезного. — Тр. Одесск. ун-та, 1960, вып. 150, № 4, с. 77—87. 19. *Переверзев В. Ф.* У истоков русского реалистического романа. М., 1965. 216 с. 20. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII — начало XIX века. XVIII век. Л., 1981, сб. 13. 290 с. 21. *Пушкин А. С.* Опровержение на критике. — Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.; Л., 1949, т. 7, с. 166—198. 22. Развитие реализма в русской литературе. В 3-х т. М., 1972. 348 с. 23. *Скабичевский А.* Наш исторический роман в его прошлом и настоящем. — Соч. В 2-х т. Пб., 1890, т. 2, с. 654—663. 24. *Соколов Ю. В. В. Т. Нарезный.* Беседы, вып. 1. М., 1915, с. 77—109. 25. *Степанов Н. Л.* Романы Нарезного. — В кн.: Нарезный В. Т. Избр. соч. В 2-х т. М., 1956, т. 1, с. 5—40. 26. Сын отечества, 1824, ч. 97. 288 с. 27. *Тургенев А. И.* Речь о русской литературе. — Литературная критика 1800—1820-х годов. М., 1980, с. 44—47. 28. *Чулков М. Д.* Пригожая повариха или похождения развратной женщины. Спб., 1770. 109 с. 29. *Шаликов П. И.* Путешествие в Малороссию. М., 1803. 249 с.

Статья поступила в редколлегия 20.03.83

В. П. Казарин, доц.,
Симферопольский университет

Вопросы просветительской социологии и проблема художественного метода петербургских повестей Н. В. Гоголя

В спорах последних лет о романтизме и реализме все большее число исследователей разделяет выдвинутое в свое время Г. А. Гуковским положение, согласно которому ключевым для решения проблемы художественного метода писателя является вопрос социальности. Существо реалистического «стиля» ученый видит в «социальном обосновании человека», которое, подчеркивает он, не свойственно романтизму [4, с. 6; см. также: 9, с. 273; 7, с. 47; 5, с. 10]. Сегодня это общее положение конкретизируется и подтверждается на самом разнообразном материале более частных проблем, касающихся границ двух методов [3, с. 35].

Вместе с тем настойчивое изучение проблем романтизма и реализма довольно скоро обнаружило необходимость какой-то дополнительной дифференциации самого принципа «социальности». Показательно, например, что участники дискуссии о романтизме Н. В. Гоголя на страницах «Русской литературы», теоретически одинаково признавая важность этого принципа, практически оказались на прямо противоположных позициях в понимании конкретных проблем гоголевского творчества [6; 8].

В этой связи весьма существенным является тот факт, что сам Г. А. Гуковский признавал трудности разграничения социальной проблематики в прозе романтической и реалистической в 20-е—30-е годы. С некоторым недоумением он писал, что «отдельные элементы, характерные для... реалистических поисков и реалистических открытий, обнаруживаются в эту эпоху здесь и там — у различных писателей, как сознательно тяготевших к Пушкину или Гоголю, так и шедших иными путями, демонстративно-романтическими» [4, с. 15—16].

Чем объясняется это явление? Г. А. Гуковский не дал ответа на этот вопрос, ограничившись замечанием, что «проблемы реализма в 30-х годах «носились в воздухе» [4, с. 17]. Этот факт осмыслила Е. Н. Купреянова. Она отметила, что романтизм и реализм следует рассматривать как художественные методы, возникающие на одной и той же ступени общественного развития. «По самому «предмету» художественного отражения — *торжество буржуазной практики* — и отрицательному ее осмыслению романтизм может и должен рассматриваться как изначальная, «утробная» стадия критического реализма. Типологические различия романтизма и реализма тем самым отнюдь не стираются, а только выявляют свою известную историческую общность в качестве явлений, возникающих на послереволюционной стадии буржуазного развития» [9, с. 260—261]. В свете этого положения отмеченное Г. А. Гуковским широкое распространение социальной проблематики в литературе 30-х годов получает естественное и закономерное объяснение: «Критический реализм, — подчеркивает Е. Н. Купреянова, — не снял и не отменил ни одной из проблем литературно-художественного сознания, поставленных романтизмом» [9, с. 261]. Различение романтизма и реализма в этом случае означает различение социальной проблематики и социальной методологии, так как «критический реализм решал эти романтические по своему генезису проблемы существенно иными и по сути дела антиромантическим способом, подвергая их аналитическому рассечению и все большей социально-исторической конкретизации» [9, с. 261].

К сожалению, во многих работах по романтизму отсутствует понимание того, что именно с романтизмом связан «крупный шаг в художественном постижении общественной сущности человека, его, по выражению Белинского, «социальности» [9, с. 267; см. также: 5, с. 9, 11]. Уже романтизм «первого призыва» (Гуковский), то есть романтизм В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, декабристов был шагом вперед в художественном постижении социальности человека. Тем более это характерно для романтизма 30-х годов — романтизма «второго призыва». Его появление Г. А. Гуковский справедливо связывает с выходом в этот период на историческую арену разночинца, с началом демократизации общественного движения: «Массовость становилась законом бытия культуры, массовость еще ограниченная, урезанная, неполная, но принципиальная» [4, с. 11]. И если в отношении романтизма В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова (с декабристами в

этом отношении проще) исследователя подстерегает опасность недоучета социальной проблематики их творчества, которая в известной мере теряется на фоне социальной методологии реализма, то в отношении романтизма 30-х годов чаще происходит обратное: ярко выраженная социальная проблематика принимается за социальную методологию, и творчество того или иного романтика относят к реализму. Так происходит, на наш взгляд, с оценкой творчества Н. В. Гоголя.

В зрелом творчестве Н. В. Гоголя, в частности в его петербургских повестях, в центре стоят проблемы социального бытия человека. Г. А. Гуковский в блестящем анализе «Записок сумасшедшего», доказывая социальную обусловленность личности Поприщина, вскрывает многочисленные связи героя с бюрократической средой, с идеологией чиновничьего круга [4, с. 305—311]. Связи эти, действительно, весьма многообразны и реальны. Вместе с тем было бы неверно определять героя в целом как «типичнейшее проявление низменнейшей среды «филистеров» — обывателей» [4, с. 301]. Напротив, в повести с самого начала, и довольно отчетливо, намечена тема разлада Поприщина со средой, с ее идеалами и вкусами, подготавливающая саму возможность бунта титулярного советника.

Аксентий Поприщин выглядит не только обездоленным, но и внутренне чужим в мире, идеалы которого, оказывается, для него неприемлемы. Завидуя чиновнику-взяточнику, сам он, однако, предпочитает другие, не столь низменные ценности: «Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой веки не видеть губернскому правлению: столы из красного дерева, и все начальники на вы. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент (выделено Гоголем — В. К.)» [2, т. 3, с. 194]. Для героя обращение к нему начальника на «вы» важнее прямой выгоды.

Г. А. Гуковский справедливо писал, что «благородные» замашки Поприщина, его дворянская спесь («Правильно писать может только дворянин») содержат в себе элемент «жестокой демократической пародии» на учения дворянских либералов [4, с. 306—307]. Но не только. Думается, дворянское неприятие Поприщиным «унтер-офицерских детей» содержит в себе также неприятие связанного с набирающей силу молодой разночинной русской буржуазией наглого карьеризма и хищничества. Н. В. Гоголь явно противопоставляет своего героя основной массе чиновников: «Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане — никак не утерпишь пойти. А вот из нашей братья чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром» [2, т. 3, с. 198—199].

«Претензии» Поприщина одновременно и результат униженного в мире «тихеньких» самолюбия, и показатель свойственных ему духовных запросов. Помимо театра его занимают стихи, он читает газету, в письме собачки Меджи узнает цитату «из одного сочинения, переведенного с немецкого» [2, т. 3, с. 202]. Наконец, в преклонении Поприщина перед директором есть не только

слепой пьет перед чином, но и доступное ему уважение к культуре: «Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал название некоторых: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: все или на французском или на немецком» [2, т. 3, с. 196]. Вспомним и то, что жанр повести — «записки»: Поприщин достаточно образован, чтобы вести дневник.

Таким образом, герой выделяется из среды. Более того, ему свойственно ощущение своего нравственного превосходства над окружающими, которое является его опорой и придает сил. Именно оно стало причиной того, что Поприщин — тихий и смирный, в первой части повести сознательно лояльный к власти и общественному порядку — сделал то, на что никогда бы не решился самый оборотистый из его сослуживцев. Он влюбился в генеральскую дочку! Влюбился бескорыстно, без мыслей о выгоде и карьере. Ни с кем другим в «Записках сумасшедшего» эта история произойти не могла.

Г. А. Гуковский справедливо отмечал, что повесть «пронизана именно любовным сюжетом» [4, с. 310]. Характерно, что в черновом варианте эпилога в уста героя была вложена фраза, прямо указывавшая на центральное место в повести темы неразделенной любви: «Матушка моя, за что они мучат меня!.. Ты видишь, как жестоко поступают со мною за любовь» [2, т. 3, с. 571]. Гоголь снял эти слова в чистовом тексте безусловно потому, что они обедняли идею финала. Повесть «Записки сумасшедшего», разумеется, не повесть о любви. Но именно любовный сюжет — то зерно, из которого вырастает общая гуманистическая, исполненная протеста идея повести. И эта связь идеи, утверждающей право каждого человека на свободу личности и счастье, с любовным сюжетом не только не случайна, она принципиально, методологически важна. Для романтической литературы любовь — тема традиционная, почти доминирующая. Тем более любовь «неравная», а у Поприщина именно такая любовь. Уже, например, В. А. Жуковскому любовь Минваны и Армения в «Эоловой арфе» позволила в какой-то мере поставить проблему противоположности (говоря языком просветителей) общественного неравенства.

Героям Жуковского любовь приносит страдания и гибель в этом жестоком мире. Коллизия «Записок сумасшедшего» обнаруживает, конечно, гораздо большую социальную зрелость автора, и потому она куда страшнее — оказывается, что сегодня эта любовь просто невозможна, ибо не только отец современной Минваны «хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником» [2, т. 3, с. 205], но и она сама сначала узнаёт чин и состояние своего Армения, а потом уже позволит себе полюбить его. Когда Софи, ожидающая своего жениха, восклицает, обращаясь к собачке: «Ах, Меджи, Меджи! Если бы ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие!..» [2, т. 3, с. 204] — то для нее самой в ряду достоинств жениха «брюнет» и «камер-юнкер» неотделимо одно от другого.

«Живая» душа, проснувшаяся в Поприщине, раскрывает ему глаза на несправедливость социального мира, покушающегося на нравственный идеал человека. Поприщин не только мирился, он сам в своем поведении утверждал общественное неравенство до того, как вдруг полюбил. Полюбив, он как бы выпадает из социального ряда. И тогда только, после «выпадения», становится возможным спор с социальным миром. Для Гоголя мир, окружающий героя, естествен и непротиворечив. То есть он, конечно, отвратителен и порочен, но это естественный и закономерный результат самих по себе социальных порядков, когда они не одухотворены человечностью. Социальный порядок для писателя плох уже потому, что он является социальным. В результате он критикуется не с позиций иного порядка (как это будет иметь место в реализме), а с точки зрения внесоциального идеала. Поэтому Поприщин-чиновник не видит чудовищности и противоестественности социального мира. Это будет дано увидеть только Поприщину-человеку. Но соответственно и характер критики социальных противоречий не обретает социальной глубины. Критика эта ведется не с позиций какой-то другой социальной правды, а с точки зрения несоответствия социальных порядков умопозитивному и внесоциальному идеалу братства всех людей, восходящему к идеалу «естественного человека». С точки зрения этого идеала социальные границы между людьми оказываются фиктивными, никоим образом не затрагивающими существа человеческой личности. Для Поприщина-человека они только бутафория, не более: «Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, — мысленно обращается он к начальнику отделения, — тебе тогда не стать мне и в подметки» [2, т. 3, с. 198]. В «Ревизоре» сюжет построен как раз на таком «переодевании», которое вполне удалось. В «Невском проспекте» и «Носе» отделение фикции чина от человека легло в основу гротескного образа.

Окончательно мысль о чуждом «естественной» природе человека характере социальных различий будет сформулирована в письмах собачки Меджи. Вообще, введение в повесть переписки собачек — сюжетный ход, появление которого обусловлено, конечно, не столько влиянием Гофмана, сколько логическим развитием темы противоестественности с точки зрения природы социальных контрастов. Мир, открывающийся в переписке, во всех своих компонентах противостоит миру людей. В отличие от людей, дружеские отношения собачек не зависят от социальных различий. Меджи, живущая в довольстве в генеральском доме, обитатели которого не считают Поприщина за человека, состоит в самых дружеских, доверительных отношениях и в переписке с собачкой с «мещанским именем» Фидель, хозяйка которой живет в разночинном доме Зверькова на пятом этаже, доме, в котором, кстати, живет приятель Поприщина. Слово в оправдание этой своей дружбы, Меджи выскажет мысль, знакомую Поприщину, которая является едва ли не основой нравственного пафоса повести: «Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатле-

ния с другим есть одно из первых благ на свете» [2, т. 3, с. 202]. Отношения Меджи и Фидель — практическое подтверждение этой мысли. Показательно и то, что Меджи тоже переживает период любви. Но для нее любовь — чувство, свободное от расчета. Меджи с одинаковой категоричностью отвергает обоих кавалеров Софи — и Теплова, и Поприщина. Но руководствуется она при этом только идеалом красоты, которому не отвечают оба героя. Своего избранника Трезора она любит бескорыстно, предпочитая его красоту дворняге, воображающей, что «он презнатная особа», и «страшному доге». Поприщин надеялся найти в переписке собачек разгадку отношений окружающих его людей: «Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека... Она чрезвычайный политик: все замечает...» [2, т. 3, с. 200]. Действительно, именно в письмах Меджи, выражающих естественный взгляд на мир, обнажилась вся пустота обитателей генеральского дома. Директор, мысли которого мечтал узнать Поприщин, оказывается всего лишь честолюбцем, думающим об ордене. Софи — пустая светская барышня, болтающая, по словам Меджи, о всяком вздоре. Поприщин узнает, что Софи влюблена в чин Теплова едва ли не больше, чем в его глаза, что она просто не способна смотреть на титулярного советника иначе, как на слугу. Знакомство героя с перепиской собачек кладет начало новому периоду его жизни. До сих пор он испытывал социальное унижение, сохраняя чувство нравственного достоинства. Отказав ему в праве любить, героя унизили как человека.

Поприщин бунтует не как представитель одного сословия против всевластия и произвола другого, а как человек, который сохранил живую душу в мире людей, утративших ее. Характерно, что он одинок в своем протесте: сослуживцы так же далеки ему, как и директор департамента. Коллизию гоголевской повести можно было бы определить так: человек среди людей, или точнее — нормальный, душевно пробудившийся человек среди нравственно искалеченных людей. Критика Гоголя является социальной только в той мере, в какой социальное оказывается источником гибели нравственного в человеке (фикция чина ослепляет и губит изначально здоровую и гармоническую личность). Но критика Гоголя социально непоследовательна, поскольку само наличие нравственного в человеке с социальными факторами никак не связано. Для Поприщина, например, равенство — категория только морально-этическая и никак не социальная [2, т. 3, с. 205—206]. Позиция Гоголя, объективно являющаяся выражением социальной обездоленности широких демократических масс, субъективно оформляется как выражение некоего высшего и надсоциального общечеловеческого идеала.

Одно из существенных отличий «плебейского» романтизма 30-х годов от романтизма наследников дворянской революционности состоит в том, что Лермонтову, например, вообще не приходилось решать проблему социального раскрепощения героя. Жизнь в его произведениях прямо предстает как арена столкновения человеческих страстей. Предметом изображения Гоголя

стал, условно говоря, Максим Максимыч, а не Печорин. Поэтому, прежде чем его герой обнаружит скрытые в нем страсти и «живую» душу, Гоголь должен «освободить» его от социальных пут, доказать то, что не приходится доказывать Лермонтову, — право социальное обездоленного героя на чувство. Поэтому объективно произведения Гоголя заключают в себе гораздо больший заряд социального критицизма, импониовавшего демократическому читателю 30—40-х годов. Но, с другой стороны, тот идеал, который проповедует Гоголь, при всех отличиях родствен идеалу Лермонтова методологически — как идеал (в понимании автора) внеисторический и внесоциальный.

Несоциальный характер бунта Поприщина против социальных реальностей проявляется в форме этого бунта — он воображает себя королем. С реалистической точки зрения возможно двойное осмысление стремления героя примерить на себя «мундир» властителя: или для того, чтобы властью этого мундира утвердить иную социальную правду (Пугачев у Пушкина), или для того, чтобы, примерив этот мундир, осознать его социальную чуждость своей правде (Раскольников у Достоевского). Гоголя ни одна из этих реалистических задач не интересует. Поприщин-король не имеет социальной программы действий. Его целью является восстановление в этом мире своего растоптанного человеческого достоинства. Он должен утвердить его, он хочет заявить о себе как о личности в мире, где личность не уважают. Иной социальной правды он не знает, языком других социальных ценностей не владеет. А потому он вынужден обращаться к общепринятым понятиям. В этом мире уважают чин. Но ведь нет ничего важнее и значительнее «чина» человека («Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека...» [2, т. 3, с. 204]). А значит, на языке этого мира человек не может быть ничтожным титулярным советником, он — тот же король: «Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла войти мне в голову эта сумасбродная мысль» [2, т. 3, с. 207]. Такова «логика» безумия Поприщина.

В повести герой сам указывает на свое стремление через чин восстановить униженное человеческое достоинство: «Желал бы я сам сделаться генералом, не для того, чтобы получить руку и прочее. Нет; хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери. Досадно!» [2, с. 3, с. 205]. Уже объявив себя королем, Поприщин укажет на лежащее в основе этого шага чувство унижения: «В департамент не ходил. Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманите меня; не стану переписывать гадких бумаг ваших!» [2, т. 3, с. 208]. Королевский «чин» стал выражением освобождения Поприщина-человека от бессмысленных для него теперь обязанностей Поприщина-чиновника.

Итак, бунт Поприщина является протестом против системы социального угнетения, но протестом, который осуществляется с позиций отрицания всякой значимости социальных институтов.

Да, «пафос нравственной проповеди» Гоголя был «окрашен социальным отрицанием» [4, с. 326], но именно романтический характер этой проповеди приводил к тому, что «биение острой социальной мысли соединялось в ней с морализмом, скрывающим ее стихийность» [4, с. 326].

Морализм являлся необходимым элементом замысла всех петербургских повестей. В «Записках сумасшедшего», подспудно формируя общий ход повествования, он прямо выражен в финале повести, обнажая тем самым характер ее замысла в целом. Финал «Записок сумасшедшего» — призыв к человеколюбию («Спасите меня! возьмите меня!..» [2, т. 3, с. 214]), отрицание социальной разобщенности, основанное на просветительских идеалах равенства. В финале Поприщин уже не чиновник и не король. Он возвращен к своему исходному человеческому естеству — он сын, обращающийся с мольбами к матери: «Матушка, спаси твоего бедного сына!.. ему нет места на свете! его гонят! — Матушка! пожалей о своем больном дитятке!..» [2, т. 3, с. 214]. Нравственная атмосфера финала — протест против уродливого кошмара социального мира. Поприщин — «бедный сын», «больное дитятко», «бедный сиротка», которому нет места на свете, который справедливо и с полным на то правом нуждается в жалости и сострадании. Задача писателя состоит в том, чтобы заставить читателя увидеть за социальным — «естественное», в чиновнике — человека, в ближнем — брата. Именно поэтому в финале заявлена тема детства, младенчества, отчетливо связанная с темой прекрасного от рождения человека, которого потом уродует и губит социальный мир. Все это и позволило А. И. Герцену писать, что Н. В. Гоголь мучительно искал «доказательств того, что русский народ может воспрянуть», бился в своем творчестве над вопросом о народе, но так и «не нашел его решения» [1, т. 3, с. 477].

Трагизм исканий Н. В. Гоголя — результат, с одной стороны, принадлежности писателя к числу просветителей в широком, принятом в современной науке значении термина [10], с другой, — следствие своеобразия исторической эпохи 30-х годов. В этот период признание объективности социальных факторов фактически означало признание неизбежности и необратимости тех буржуазных сдвигов, которые все интенсивнее происходили в стране и несли усиление страданий сотням тысяч крестьян. Исполненное гуманизма неприятие капиталистического прогресса побуждало передовых русских мыслителей обратиться к подробному критическому анализу реальной действительности, но решать выявленные проблемы они пытались утопическими средствами, в основе которых коренилась мысль о возможности волонтаристского изменения и перестройки действительности. Об уязвимости романтической социологии, игнорирующей объективные законы прогресса, писал Н. А. Гуляев [5, с. 9]. Социально-критический анализ действительности у романтика не был полноценным и не означал «доверия» автора к этой действительности. Напротив, движущим началом такого анализа являлось желание, разоблачив действительность, противопоставить ей идеал, существ-

вующий вне ее, «освободить» героя (а значит, и читателя, что являлось главной целью) от мнимой власти действительности, нанести ей с помощью искусства смертельный удар.

Список литературы: 1. Герцен А. И. Соч. В 9-ти т. М., 1955—1958. 2. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. В 14-ти т. М.; Л., 1937—1952. 3. Горский И. К. К вопросу о типизации. — В кн.: Классическое наследие и современность. Л., 1981, с. 34 — 45. 4. Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. 531 с. 5. Гуляев Н. А. В. И. Ленин и методологические вопросы в изучении романтизма. — В кн.: Проблемы эстетики и творчества романтиков. Калинин, 1982, с. 3—21. 6. Гуляев Н. А., Каргашова И. В. Об эволюции творческого метода Гоголя (Постановка вопроса). — Русская литература, 1974, № 2, с. 98—108. 7. Иезуитов А. Н. В. И. Ленин и вопросы реализма. Л., 1980. 303 с. 8. Куприянова Е. Н. Что такое романтизм и что такое реализм? — Русская литература, 1974, № 2, с. 103—120. 9. Куприянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1976. 415 с. 10. Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. М.; Л., 1961. 272 с.

Статья поступила в редколлегию 07.02.83

Л. П. Подлужная, доц.,
Житомирский пединститут

Гоголевские традиции в творчестве А. И. Левитова

Исследователи уже занимались вопросом гоголевских традиций в творчестве А. И. Левитова [1, с. 251—288; 4, с. 51—66].

Цель настоящей статьи — дополнить имеющиеся сведения по данному вопросу новыми наблюдениями.

В 1855—1856 гг. в «Современнике» печатались «Очерки гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского, основным тезисом которых было утверждение критического гоголевского направления как единственно правильного для того времени. Первый очерк А. Левитова «Типы и сцены сельской ярмарки» (1856—1857) свидетельствует о связи его творческих устремлений с традициями Н. Гоголя, о творческом освоении принципов натуральной школы. В очерке «Петербургский случай» (1868 г.) А. Левитов коснулся многих вопросов, поставленных в работе Н. Чернышевского. Критик писал: «Гоголь важен не только как гениальный писатель, но вместе с тем и как глава школы — единственной школы, которую может гордиться русская литература...» [3, с. 43—44]. А. Левитов отмечает, что Н. Гоголь — «основатель русской литературы» [2, т. 2, с. 298]. Словами своего героя Сизова (очерк «Лирические воспоминания Ивана Сизова») А. Левитов выразил мнение о могучем влиянии А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова и В. Г. Белинского. Сизов бросает семинарию, уходит в Петербург, мечтая о научной работе, в свои замыслы он посвящает любимую сестру: «Всегда только одно и буду я делать, что везде и всегда говорить о наших развалившихся избах, о горе, которое безысходно живет в них, о наших головах темных, об умах обездоленных» [2, т. 1,